

С. А. Лишаев

### Горизонты старости: типология и экзистенциальное содержание

Так тяжкий млат,  
Дробя стекло, кует булат.  
А. С. Пушкин

Быть молодым — модно. Политики и журналисты, социологи и психологи, врачи и учителя озабочены воспитанием, образованием, здоровьем, мировоззрением *молодого поколения*, потому что за ним сегодня не только будущее, но и *настоящее*. Молодыми считают себя не только двадцатилетние: от них не отстают тридцатилетние и те, кому «за 40». Эти «немолодые-молодые» в своем самосознании и поведении сохраняют (хотели бы сохранить) некоторые черты молодежного образа жизни. И хотя молодых людей в развитых странах сегодня меньше, чем когда бы то ни было в прошлом, но к «молодым по возрасту» примыкает целая армия перебежчиков, сформированная из представителей других поколений. И тому есть много причин. Вот только одна из них: процветание современных государств и сообществ (в научно-технической, социальной, экономической областях) обеспечивается их *мобильностью*, то есть способностью быстро меняться и опережать в гонке технических и социальных инноваций своих соперников. Той же способностью/неспособностью к «перестройке на марше» определяется и успех в «конкурентной борьбе» за место под солнцем между отдельными людьми. Ее величество Скорость проводит жесткий «кастинг», который выдерживает молодежь и часть людей зрелого возраста, но не старики. Их этот тест выбраковывает едва ли не на 100%.

Итак, «в круге света» сегодня молодое поколение, и если «широкая общественность» все же уделяет старикам немного внимания, то разговор обычно ведется не вокруг собственно *старости*, а вокруг *проблем «людей пенсионного возраста»*, которые беспокоят государство и которые нужно решить, «чтобы старость была не в тягость» и обществу, и старикам. Обсуждение темы «старости» (в том числе в специальной, геронтологической литературе) ведется в *молчали-*

*вом предположении*, что старость — это физиологически предопределенная *деградация* «человеческого» в человеке. Ученые заняты обсуждением причин, форм и механизмов процесса старения *организма* и поиском средств, которые позволили бы **старому не быть старым**.

В противовес практике избегания и вытеснения старости я бы хотел сосредоточить внимание **на положительных типах старческого этоса** (то есть нравственного характера старого человека<sup>1</sup>). Вытеснение положительного образа старости в массовом сознании и в геронтологических исследованиях само по себе еще *не доказывает, что такой опыт невозможен, что его не существует*. Появившиеся в последние годы философские исследования старости<sup>2</sup> обращают внимание как раз на ее позитивные аспекты и оказываются в оппозиции к доминирующему в общественном сознании образу «жалкой», «слабоумной» старости. Наше эссе продолжает эту линию на философскую апологию старости. В нем мы пытаемся ответить на вопрос: есть ли в самой старости что-то, за что ее можно уважать (любить), что позволяет ее *принять*, а не просто смириться с ней?

#### Этос старого человека: экономика утрат и приобретений

Этос старого человека формируется постепенно, и формирование его связано, с одной стороны, с теми изменениями, которые происходят со стариком, когда он начинает стареть, а с другой, с тем, как эти изменения им осознаются и что он с этим сознанием делает. «Молот старости» (то есть

---

<sup>1</sup> «ЭТОС (*греч.* ethos), термин античной философии, обозначающий характер какого-либо лица или явления; этос музыки, напр., — ее внутренний строй и характер воздействия на человека. Этос как устойчивый нравственный характер часто противопоставлялся пафосу как душевному переживанию» (Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2003).

<sup>2</sup> Философская аналитика старости в нашей стране делает пока что свои первые шаги. В последние годы прошло несколько конференций, посвященных философскому осмыслению этого феномена (приоритет открытия темы в российском философском пространстве принадлежит кафедре социальной философии Санкт-Петербургского университета и ее заведующему К. С. Пигрову), и появились первые публикации по этой проблематике (см.: Философия старости:

органические «сдвиги» в человеческом теле, меняющие «телесно-душевного человека» независимо от того, нравится ему это или нет) год от года наносит дряхляющему телу все более чувствительные удары, а реакция на эти удары бывает разной. Один человек достигает образа прекрасной, мудрой старости, другой же теряет прежнюю возрастную форму, которая у него была когда-то, а новой формы не приобретает.

Совокупность изменений в само-чувствии стареющего человека и в способах его взаимодействия с окружающим миром (то, как на тебя реагируют «другие», и то, как сам ты реагируешь на людей, вещи, житейские ситуации) проходит через рефлексивную проработку и закрепляется в новом этосе<sup>3</sup>. В зависимости от того, как человек «работает» с собственным возрастом, этос старика обретает различные формы.

**Старость и знание смерти (к вопросу об основаниях позитивного и негативного сценариев старости).** За разным отношением к старости в конечном счете стоит разное отношение к смерти, поскольку у старости со смертью особые, родственные отношения. Работа с собственным возрастом в пожилые годы — это работа со своим прошлым и с сознанием близящейся смерти, которая в старости перестает быть абстрактным понятием и становится *внутренним переживанием, внутренним знанием*, подобно тому, как это бывает с человеком, когда он узнает (сознает), что болен *неизлечимой* болезнью<sup>4</sup>. В каком-то смысле старость — это взгляд на жизнь

---

геронтология. Сборник материалов конференции. СПб., 2002; Рыбакова, Н. А. Феномен старости. М. ; Псков, 2000; Рыбакова, Н. А. Проблема старости в европейской философии: от античности до современности. СПб., 2006).

<sup>3</sup> Мы оставляем за скобками инфантильную, хотя и весьма распространенную ситуацию, когда человек не признает себя старым вопреки внутренним и внешним симптомам старения («я еще не стар, а устаю, потому что много работаю, болею же я из-за того, что...» и т. д.), по той причине, что в этом случае отсутствует сама возможность тематизировать старость как особый этос. Этос старости (а не физического и психологического состояния стареющего организма) тут нет потому, что хотя внешнему наблюдателю старость и дана, но «изнутри» ее нет (нет как «внутренней старости»).

<sup>4</sup> Такое внутреннее знание смерти наступило, например, Ивана Ильича из повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

через смерть, это знание о смерти, претворенное в знание о жизни. Об этом, как и о позитивном и негативном «сценариях старости», хорошо говорит о. Александр Шмеман: «Молодость ничего не знает о смерти... Смерть не имеет ко мне отношения, а если вдруг получает его, то это возмутительно, и в этом возмущении затемняется вся жизнь. Но вот постепенно — уже не извне, а изнутри — приходит это знание. И тут возможны два пути. Один — все время заглушать это знание, “цепляться за жизнь” (“еще могу быть полезным”), жить так — мужественно. Как если бы смерть не имела ко мне отношения. И другой, по-моему — единственно верный, единственно подлинно христианский: знание о смерти сделать, вернее, все время претворять в знание о жизни, а знание о жизни — в знание о смерти. Этому двуединому знанию мешают заботы, сосредоточенность жизни на жизни...»<sup>5</sup>.

Как видим, отец Александр отделяет отношение к смерти того, кто полон жизни, для кого смерть есть нечто внешнее (смерть для молодого), и отношение к ней стареющего человека, к которому *знание смерти* приходит изнутри, так что вопрос о соотношении жизни и смерти как бы переносится в другую плоскость: в плоскость признания или непризнания близости смерти как факта самосознания, определяющего поведение человека, его образ жизни.

---

Болезнь в ее тяжелой и сравнительно быстро развивающейся, острой форме, когда смерть находится где-то совсем близко, дает такое знание смерти, которое существенно отличается от «знакомства со смертью» старого человека. Знание смерти больного человека сближается с ее знанием старым человеком, так и происходит, когда больной знает, что его болезнь неизлечима, но о времени своей смерти может лишь догадываться: смерть где-то там, в неопределенном будущем: такой больной (пусть и молодой по возрасту) подобно старику знает, что он может умереть через десять лет, а может — через полгода или год. Пережить такую постепенно лишавшую сил и жизни болезнь выпало на долю Антона Чехова, который, заболев чахоткой в молодости, знал — знал профессионально как врач, — о ее неизлечимости и жил с этим знанием около двух десятилетий. (О соотношении болезни, этоса старости и творчества в жизни Чехова см. также в последнем разделе эссе.)

<sup>5</sup> Шмеман А., *прот.* Дневники. 1973-1983. М. : Русский путь, 2005. С. 199–200.

Мера признания-осознания смерти может быть различной: от полного ее признания (признания-*принятия* старости и смерти) до полупризнания, то есть вынужденного *признания* под давлением «извне» (окружающие) и изнутри (болезни, снижение функциональных возможностей). Полупризнание «заглушается» стремлением «не обращать внимание» на собственное старение, жить так, «как если бы смерть не имела ко мне отношения», то есть игнорируя ее внутреннее знание-переживание (ее присутствие в само-чувствии старого человека). «Мужественной» старости отец Александр противопоставляет старость *подлинную*, основывающуюся на *культивировании знания-осознания смерти как способа построения этоса, который основывался бы на этом знании*.

О позитивных сценариях признаваемой и принимаемой старости, базирующейся на внутреннем знании-признании близости смерти, мы еще будем говорить специально и подробно, а сейчас продолжим цитату из дневника о. А. Шмемана: «Современная “геронтология” целиком сосредоточена на первом пути: сделать так, чтобы старики и старухи чувствовали себя “нужными” и “полезными”. Но это одновременно и обман (на деле они не нужны), и самообман — ибо они знают, что не нужны. В другом плане, однако, они действительно *нужны*, только не для тех же “забот”, в которых раздробляется и уходит вся жизнь. Нужна их свобода, нужна красота старости, нужен этот “отсвет лучей оттуда”, в них совершается умирание душевного тела и восстановление духовного...»<sup>6</sup>. В этом высказывании отца Александра обращает на себя внимание то обстоятельство, что — по Шмеману — разграничительная линия подлинной и неподлинной старости проходит через разное отношение старика к «делам», к приносимой им «пользе». Привязка жизни к «пользе», перманентная погруженность в заботы «о хлебе насущном» или «об общественном благе» свидетельствуют о нежелании и неспособности человека оторваться от стирающей, нивелирующей его жизнь «серой повседневности».

При этом и современное общество, и отзывающаяся на его запросы геронтологическая наука сориентированы (не кем-то, конечно, а «временем») как раз на то, чтобы пожилой

<sup>6</sup> Шмеман А., *прот.* Там же. С. 200.

человек до последних лет и даже дней своей жизни был с головой погружен в «дела и заботы», занимавшие его в годы молодости и зрелости (это называется «активным долголетием»), и «счастливо» избежал бы трудных мыслей о смерти.

Ясно, что такого рода «ориентирование» никак не способствует принятию старости как возможности иного отношения к смерти и жизни. Современная геронтология (и, добавлю, социология, психология) способствует (по большей части) *обману* и *самообману* стариков в этом самом важном для них вопросе. Старый человек, и здесь я полностью солидарен с отцом Александром, «нужен», но не так, как он был нужен, когда был вовлечен в дела и заботы<sup>7</sup>.

Благо старости в другом. Оно состоит в том, что старость помогает человеку хотя бы в последние годы жизни *освободиться от своей нужности* (от необходимости быть полезным своим близким, обществу и «себе любезному»). Быть нужным, полезным хорошо, но это еще не «все» в этой жизни. Что же может старый человек дать другим людям, чем он может им «пригодиться»? «Нужна их свобода, нужна “красота старости”, нужен этот “свет лучей оттуда”... — пишет отец Александр.

Старик, который, выбиваясь из сил, «бодрится», старается не отстать от своих более молодых коллег, соседей и родственников, сам того не желая, — пугает их, заражает страхом перед старостью и смертью. В жизни каждого старика (при условии, что он проживет достаточно долго) наступит момент, когда он не сможет скрыть свою старость и свое отставание от молодежи. Тогда его попытки уверить себя и окружающих в обратном будут вызывать у окружающих лишь такие чувства, как жалость и страх («Боже, неужели скоро и я буду из кожи лезть, чтобы не отстать от тех, кто моложе, и все-таки буду отставать все больше и больше!»). Но тот человек, который принял свою старость и смерть и претворяет это знание в новый для себя образ жизни, вызывает уваже-

<sup>7</sup> В эпоху, когда характер владеющих миром «дел» меняется с головокружительной быстротой, старому человеку (с его опытом, знаниями, инерцией привычек) за ним не поспеть. И если он тешит себя мыслью о том, что он «не отстал от времени», то чаще всего — это самообман.

ние и освобождает плененные страхом души от этой фобии. Экзистенциальные возможности старости лежат не в плоскости «гонки за временем», а в особой близости стариков к вечности, в том, что, когда все вокруг куда-то бегут, они неподвижны: они нечто «знают» и являют своим образом что-то такое, чего, может быть, с такой ясностью и полнотой не знают пробегающие мимо них и вечно куда-то спешащие люди. Этим знанием, этой неспешностью и сиянием особой старческой красоты они и *нужны* зрелым и молодым людям. *Они нужны как раз тем, что они не с нами.*

**Вынужденная старость в активном и пассивном залоге.** Итак, первое, что можно отметить в рамках экзистенциально-феноменологического описания-осмысления старости, это два противоположных «подхода» к ней: старость или принимается человеком, или же не принимается им. Это принятие-непринятие старости представляет собой «водораздел» между подлинной и неподлинной ее формами.

Но прежде чем рассмотреть типологию нравственного характера старого человека в ее позитивных моделях, остановимся, не вдаваясь в подробности, на негативном сценарии старости.

Если вступление в завершающую фазу жизни *признается*, но *не принимается*, то старый человек может (вариант А) *вступить в борьбу со старостью* и попытаться *построить* свое поведение так, как *если бы он оставался в модусе «взрослости-зрелости»*, то есть не принимать собственной старости и бороться «за молодость». При этом техника противодействия старости может приобретать самые разнообразные формы: тут и «тонизирующие» физические нагрузки, и «оздоравливающие» диеты, и услуги врачей самых разных специальностей (от стоматологов до косметологов и иммунологов). Способы борьбы со старостью могут быть разными, но цель у них одна: компенсировать, а в идеале — свести к нулю, «давление возраста», чтобы как можно дольше вести тот образ жизни, к которому человек привык в зрелые годы. Но старый человек может также (вариант Б), не предпринимая попыток осмыслить свой возраст и зажить по-другому, по-новому, просто *обидеться на «несправедливость» жизни*. Перед нами образ «несчастной», а может быть,

и «ворчливой», «злойной», «обидчивой», «мелочной» старости (ресентимент старости). Вариант А представляет собой этос «героической», «мужественной» старости, которая не приемлет самой себя; вариант Б можно охарактеризовать как «несчастную» старость (человек, «обидевшийся» на свою старость, чувствует себя несчастным независимо от того, есть ли у него семья, работает ли он, здоров он или болен, беден или богат).

Два только что описанных способа взаимодействия с «последним возрастом» характерны для людей, которые в зрелые и пожилые годы избегали углубляться в размышления о старости, так как заранее видели в ней одно лишь увядание и стремились как можно дольше «оставаться молодым». И в случае активного сопротивления старости («пусть я состарился, но я буду жить так, как если бы я был молод, и не поддамся старческой немощи, не отстану от времени»), и в случае пассивного претерпевания «ударов судьбы», тяжесть которых компенсируется ворчливым осуждением «молодежи», мы имеем дело с этосом «вынужденной старости», старости, признаваемой не сразу, с трудом, под сильным давлением изнутри (телесные немощи) и извне (отношение окружения).

**Этос и эстетизис старого и ветхого: позитивный сценарий старости на двух уровнях.** Прежде чем перейти к анализу позитивного сценария старости, сделаем небольшое *методологическое отступление*. Оно необходимо для того, чтобы предлагаемое в этом эссе разграничение *признанной и принятой старости* на два модуса (на старость *в горизонте старого* и старость *в горизонте ветхого*) не воспринималось как DEUS EX MACHINA. Иначе говоря, мы хотим объяснить, в чем смысл использования концепта «ветхое» в анализе экзистенциального содержания старости.

К рассмотрению старости и старческого этоса автор этого эссе пришел через исследование старого в его эстетическом горизонте, где в центре внимания оказывается то, как мы воспринимаем старое, и что с нами происходит, когда старые и ветхие вещи оказываются предметом влечения. Этос старости будет рассмотрен, исходя из тех результатов, которые были получены в ходе анализа эстетических и, в частности, временных, расположений: молодого и юного, зре-

<sup>8</sup> См.: Лишаев, С. А. Эстетика Другого. Самара, 2000. С. 193–216, 236–250; Лишаев, С. А. Влечение к ветхому. Самара, 1999.



лого и мимолетного, старого и ветхого<sup>8</sup>. В феноменологии эстетических расположений эстетическое определяется как чувственная данность особенного, Другого. При этом эстетический опыт рассматривается в двух «регистрах»: или как относительный, или как абсолютный (восприятие вещи как безусловно особенной). Принципиальное значение имеет то, дано ли (особенное) условно или безусловно (онтически или онтологически)<sup>9</sup>.

Дихотомия условного и безусловного, относительного и абсолютного, сущего и Другого, мирского и божественного — суть различие, которое обнаруживает себя в самых разных областях и имеет универсальный характер. Условное, относительное, преходящее рассматривается через его отношение к безусловному. Но если мы выделяем феномены старого и ветхого в их эстетическом восприятии, то почему бы не попытаться провести аналогичное различие применительно к этому пожилого человека?

В чем же состоит эстетическое «существо» старого и ветхого как близких друг к другу и вместе с тем — не сводимых один к другому феноменов? Если в эстетическом восприятии старого мы воспринимаем вещь в условной перспективе

<sup>9</sup> И эстетический опыт и язык дают достаточно веские основания для разграничения условного и безусловного в нем. Так, мы отличаем красивое и прекрасное (то есть красивое вне всякого сравнения — безусловно красивое), большое и возвышенное (большое вне всякого сравнения — безусловно большое). Правда, бросив взгляд на практику употребления слова прекрасный в современном русском языке, мы, пожалуй, можем встретить противопоставление-усиление также и по отношению к тому, что названо прекрасным: «Валентин — прекрасный вратарь, но Михаил стоит на воротах еще лучше» (то есть один играет очень хорошо, прекрасно, но другой — еще лучше). Прекрасное, о чем можно прочитать и в словаре Ожегова и Шведовой, — это «очень красивое», но не «красивое вне всякого сравнения». Приведенный выше пример демонстрирует возможность использования слова прекрасный в значении «очень хороший». Но философский подход к вещам состоит в том, чтобы довести до предела присутствующее в языке различие «хорошего» и «очень хорошего». Концептуализация языкового значения прекрасного в качестве «безусловно красивого» опирается при этом на эстетический опыт (мы видим нечто и говорим: «Ничего прекраснее этого нет и не может быть!»). Смысловое соотношение, аналогичное соотношению красивого и прекрасного, проводится (в «эстетике Другого») и применительно к паре старое-ветхое.

(в ее отличии от «новой» и «еще не старой» вещи и в ее соотношении со старыми вещами как «более или менее» старыми), то в расположении ветхого мы воспринимаем вещь в ее временности, конечности, то есть как безусловно старую.

Что такое старое как эстетический феномен? Старое — это чувственный образ времени в модусе «прошлого», воспринятый как что-то само по себе заслуживающее внимания. В старом эстетически переживается «прошедшее» в его «совершенности», прошедшее дано здесь как особенное по отношению к тому, что еще не свершилось, то есть по отношению к «настоящему», «текущему», «современному». Старое присутствует в настоящем, «сейчас», но в этом сейчас оно свидетельствует о свершившемся, о прошлом (являет образ прошлого). Старое эстетически открывает реальность времени как того, что отделяет вещи от них же самих, делает их другими самим себе: к восприятию «чтойности» вещей здесь добавляется время, проведенное ими «под солнцем», время, открывающее (эстетически) вещественный способ присутствия их «что» или «кто». В старом время открывается не инструментально (не как то, чем мы оперируем, планируя его, заполняя его «ячейки» делами, встречами и т. д.), а как реальность того, что существует-веществует. Старая вещь — это вещь, несущая в своем образе прошлое, которое присутствует в настоящем и которое какое-то время будет присутствовать в будущем.

Что такое ветхое как эстетический феномен? Ветхое — чувственный образ не какого-то времени (настоящего, прошлого, будущего), а образ самой временности, конечности, завладевшей в расположении ветхого нашим вниманием и открывающей человеку — через «экстремальный» опыт границы сущего — само Время как Другое. Ветхая вещь выпадает «из ряда» (она не сопоставима с другими вещами как «новыми», «не новыми, но и не старыми», «более или менее старыми»), прошлое в ней «выпрямляется», «выскакивает» за границы условного времени с его разделением на прошлое-настоящее-будущее, ветхая вещь просто присутствует. Эстетическое созерцание ветхого, в котором вещь дана как «почти уже не существующая», на первом плане оказывается не «вещь» как «что-то», а Другое вещи, то есть основание ее присутствия. В созерцании ветхого человеку открывается уже не прошлое, запечатленное в образе давно существующей вещи (другой по отношению к настоящему), а само Время как горизонт ее существования в модусах настоящего, прошлого и будущего. Время здесь эстетически

открывает себя в качестве того, что правит сущим, отсылая созерцателя к не-сущему, к Другому (к Реальности, к Тайне). Так ветхое ставит нас перед реальностью (перед временностью, конечностью сущего) и открывает «за» реальную «реальнейшее»: Другое (Время-Вечность, актуальную полноту времен). В расположении ветхого мы чувствуем Другое, не порывая со своим естеством, со своим плотским бытием. Встреча с ветхим — это встреча с Другим, это «чувство сверхчувственного», *освобождающее* нас от нашей привязанности к вещам и от нашей (человеческой) зависимости от них.

Таким образом, *старое* эстетически отсылает нас к прошлому, свершившемуся, но еще не завершившемуся присутствию вещи, центрированному ее «чтойностью» и обнаруживающему себя в модусе «прошло-в-настоящем». *Ветхое* же — суть восприятие вещи, в котором она эстетически (в событии встречи с ветхим) *отрывается от собственной «чтойности» и, соответственно, ускользает из-под власти «определенного прошлого», «определенного прошлым настоящего» и «определенного прошлым и настоящим будущего». Этому «ускользанию», «освобождению», «отрыву» ветхого соответствует присутствующее в его восприятии переживание временности, конечности сущего и переживание данности Другого, в «свете которого» присутствует присутствующее.*

Если в эстетическом опыте «вещи, являющие время», воспринимаются или как старые, или как ветхие, *то логично и на нравственный характер старика посмотреть через смысловую оптику различения старого и ветхого.* Если анализ эстетического восприятия вещей-являющих-время обнаруживает, что одни и те же вещи *в точке эстетического события* оказываются *разными эстетическими феноменами* (одна и та же вещь может быть встречена разными людьми или одним и тем же человеком в разное время то как ветхая, то как старая, то как уродливая), то это дает основание предположить, что и этос людей, психофизически находящихся в одном и том же возрасте (психическая и физическая старость, наступление которой фиксируют геронтологи и психологи), может реализоваться и под знаком того, что эстетический анализ открыл как «старое», и под знаком «ветхого». При таком подходе старость обнаруживает не только разные (негативный и позитивный) сценарии старости, но и разные модусы старческого этоса внутри позитивного сценария старости.

Итак, в анализе положительного сценария *этоса старости* мы будем *(так же, как в ее эстетическом анализе)*

различать *два модуса*: старость в условной перспективе прошлого-настоящего-будущего и старость в безусловном (эсхатологическом) горизонте ветхого. Предлагаемое читателю прочтение позитивного сценария старости в двух (условном и безусловном) регистрах реализуется через применение к анализу старческого этоса понятий «старости» и «ветхости» в том их понимании, которое сформировалось в «феноменологии эстетических расположений».

**Старость «под знаком старого».** *Принятие* стариком своего возраста и претворение знания смерти в знание жизни может быть реализовано с разной степенью полноты и радикализма. Отрыв от нужд и забот молодого и зрелого человека, связанный с осознанием стариком близящегося конца и «убылью сил», может быть относительным, условным, а может быть и радикальным, безусловным. В случае относительного отрыва от зрелости мы как раз и будем иметь такой тип старческого этоса, как **старость под знаком старого**.

Если наступление старости **признается** и **принимается человеком**, то это при(н)ятие служит стимулом к осмыслению нового возраста и выстраиванию *этоса «завершения и подведения итогов»* (старость *в горизонте старого*). Цель такой перестройки — выработка поведения, которое соответствовало бы последнему из возрастов и которое, опираясь на преимущества старости, могло бы по-новому вместить в свой внутренний характер «всего человека целиком». В старости, проходящей *под знаком старого*, поведение старика (старухи) определяется, во-первых, «взглядом в прошлое» и, во-вторых, всматриванием в ближайшее будущее как *время для завершения того, что было начато* в годы молодости и зрелости. Тут старый человек **выстраивает свой этос через работу с прошлым**. На будущее он смотрит не как на возможность продолжить работу над одним из жизненных «проектов» (на этом делается акцент в молодости и зрелости) или затеять какое-то новое дело (ситуация типичная, для молодого человека), а как на возможность *завершить* начатое (*продолжение-как-завершение*). Жизнь — прожита, то, о чем мечталось и чего хотелось в молодости, то, что хранилось в одном из потаенных уголков души под рубрикой «когда-нибудь потом, когда будет время», теперь, в старости, переходит в разряд «несбывшегося» («не судьба!»).

Итак, старость «под знаком старого» переживается как время, призывающее (побуждающее) уйти от того, чего нам когда-то «хотелось», о чем «мечталось» в молодые и зрелые годы, и сосредоточиться **на реальности**, на том, что же в конечном итоге «из всего этого» (из моей жизни, из множества желаний и планов) вышло, чтобы, имея дело с «сухим остатком» прожитых лет, попытаться извлечь из «сбывшегося» смысл и «довести до ума» то, что еще возможно до него довести (= сделать возможным извлечение смысла). Логика «завершения» предполагает жесткий отбор «начатого» с точки зрения возможности *довести его до конечного результата* и важности «начатого» *для тела жизни в целом*. В отборе «самого важного» старость расчетлива и скупа. В условиях жесткого лимита сил и времени старику приходится быть экономным.

Признание и принятие старости разгоняет кучевые облака «когда-нибудь» и делает небосвод прозрачным. Кучевые облака сменяются перистыми. Написана еще одна страница воспоминаний, отправлено письмо другу (так давно хотел написать ему!), любимый внук поступил в университет, а внучка — вышла замуж... «Доделывание почти сделанного» *может длиться годами и способно заполнить собой всю старость* целиком, без остатка.

**Старость «под знаком ветхости».** Когда наступление старости не просто признается и принимается, но **еще и потенцируется до ветхости**, до осознания *полной исчерпанности прошлого* (все, что мог совершить, — совершил) или, что то же, до сознания *невозможности будущего* (невозможности будущего как поля новых дел, новых впечатлений, мыслей и встреч...), то мы имеем дело *со старостью, этос которой выстроен под знаком ветхости*. А под этим знаком *доделывать* начатое — *поздно*.

Жить под знаком ветхости — значит очистить небо от перистых облаков завершающих жестов. Ветхая старость — это старость, замершая (длящаяся) в точке отсутствия времени-для-завершения-начатого.

*Образ жизни старца* (старец — старик, живущий под знаком ветхости) отличается от *образа жизни старика тем, что у первого «нет будущего»*, тогда как у второго оно есть, но

*его «мало»*. Это не значит, что старцу не хватает времени. Как раз наоборот: времени у него больше, чем у того, кто смотрит в прошлое и гадает по прошлому о будущем. Старец не озабочен собой, а потому он не думает о том, как бы «не испортить финала» (чего так боялся старый профессор из чеховской «Скучной истории»), он никуда не торопится, а его мысли не заняты вычислением траектории завершающих жестов, которые придали бы его биографии осмысленность и цельность.

Если человек, приняв старость, не руководствуется этим ветхого, значит он *продолжает жить воспоминаниями о прошлом и ближайшим будущим*, значит его душа еще пребывает под властью «сожалений и упований», а его поведение определяет его «эмпирическое я» («я есть, я есть тот-то и тот-то, родившийся там-то и тогда-то, занимавшийся тем-то и тем-то, достигший того-то и того-то...»). Под знаком старого жизнь все еще — хоть и не столь явно, как прежде — осознается через свое **прошлое** (через заслуги, свершения, поражения, награды, звания, памятные события биографии), а не через Другое, не через отношение к Другому (к трансцендентному). Здесь старик по-прежнему, как в молодые и зрелые годы, *сравнивает себя с другими* людьми и его присутствие остается условным, относительным.

Но что же происходит с тем стариком, который выстраивает свой этос под знаком ветхости? Прежде всего, для старца (для того, кто определен не через «кто» и «что», а через ветхость) *настоящее перестает быть пересадочной станцией между прошлым и будущим*. Благодаря антиципации конца (а ветхость можно определить как стояние на грани бытия/небытия) *настоящее освобождается для чистого присутствия*, то есть для бытия по ту сторону мирских (жизненных) целей. Рассмотренное и оцененное как ветхое, тело не имеет жизненных перспектив, следовательно, перед нами тело, освобожденное от желаний (тело-без-желаний), или, иначе, — бесстрастное, аскетическое тело<sup>10</sup>. Ветхий старец не ставит перед собой целей в имманентной перспективе

<sup>10</sup> О преодолении и видоизменении желаний у «настоящего старика» много интересных мыслей можно найти в работах К. С. Пигрова: «Желания настоящего старика модифицируются — это желания разумной души. Они растождествляются с телом старика. /.../

«мира сего». Если и есть у него цель, то она не относится к земному кругу бытия (такой целью может быть соединение с Богом, спасение).

Хотя в ветхом теле еще достаточно жизни для того, чтобы оно могло присутствовать и созерцать, ее уже недостаточно для того, чтобы действовать, загадывая на будущее; да и само действие для того, кто ощущает себя ветхим, лишено смысла, поскольку ветхое тело свободно от желаний. Полнота присутствия старца связана с тем обстоятельством, что он оказывается «выведен» предвосхищенной им ветхостью<sup>11</sup> из всегдашней развернутости Времени в тройственность «времен сущего». Настоящего как особого времени *нет*, если человек *ничего не ожидает в будущем, ничего не ищет в прошлом* (не сводит с ним счеты, *не утверждает* с помощью «прошлых заслуг» *в настоящем*, не протягивает от него нить в призванное довершить его будущее), а просто *присутствует*, просто радуется солнцу, ветру, распускающейся по весне сирени и сизым сумеркам за окном... Старец может беседовать с лилиями полевыми и с детьми, с «государственными людьми» и с людьми знаменитыми, с друзьями и с недругами с равным вниманием и равной благосклонностью. Именно в освобождении от властвующего над человеческой душой тройственного союза прошлого, будущего и настоящего — отличительная особенность старости, выстроившей себя

---

Конкретно такое растождествление со своим телом у старика осуществляется через практику *аскезы*. Собственно, аскеза — это всегдашний признак настоящего старика. /.../ Старость... уже здесь и теперь есть "жизнь после жизни", или — подлинно духовная жизнь». (Пигров, К. С. Экзистенциальный смысл настоящей старости // Философия старости: геронтология : сб. матер. конф. СПб., 2003. С. 3—7).

<sup>11</sup> Как особый этос ветхая старость всегда есть результат внутренней работы, проделанной пожилым человеком под знаком ветхости, поскольку в любой данный момент (до момента смерти) в эмпирическом пространстве существования у старика всегда есть «немного будущего», «есть время» для того, чтобы что-то до(с)казать и доделать. А потому можно утверждать, что даже глубокая старость с ее физической дряхлостью «автоматически» не приводит человека к бытию способом «ветхого старца»: этос старца — это результат подчинения своего «нравственного характера» образу ветхости.

в горизонте ветхого<sup>12</sup>. Душа ветхого старца — проста. Оставив «попечение» о сущем, она обретает *покой и волю*, о которых мечтали наши поэты<sup>13</sup>. В «ветхом теле» душа, если выразить эту мысль на языке веры, «освобождается от страстей» и открывается Богу. Здесь, в этосе старости-ветхости, человеку удастся с большим, чем в других возрастных этосах, успехом, освободиться от нарциссизма, от «оборота на себя» и от произрастающих на этой почве сорняков гордыни, обиды и зависти...

Прекрасный пример переживания старческого этоса в горизонте ветхости дает одна из дневниковых записей о. Александра Шмемана, сделанная в 1977 году, когда ее автору не исполнилось еще и 60-ти: «...Мне иногда кажется, что я уже получил от жизни все, что хотел от нее получить, узнал то, что хотел узнать, и т. д. Начало старости — и вот думается, что это должно было бы быть временем приготовления к смерти. Но не в смысле сосредоточивания на ней внимания, а, наоборот, в смысле очищения сознанием, мыслью, сердцем, созерцанием — «квинтэссенции» жизни, той «тайной радости», из-за которой душе уже ничего «не надо, когда *оттуда ринутся лучи*» (А. Блок)»<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Очевидно, что два только что описанных нами способа при(н)ятия старости суть варианты «позитивной модели старости», реализуемой на условном («почтенная» старость) и безусловном («ветхая и мудрая» старость) уровнях старческого этоса. Таким образом, мы установили соответствие между эстетическими феноменами старости и ветхости и двумя утверждающими полноту человеческого присутствия модусами старческого этоса.

И хотя этос (нравственный характер) есть нечто более или менее устойчивое, постоянное, но когда мы говорим об этосе «ветхого старца», то следует иметь в виду, что на практике (а не в идеальной типологии этосов) редко какому старику удастся постоянно жить под знаком ветхости (разве что святому!...). Вот почему на деле два модуса позитивной старости всегда *сочетаются друг с другом*: этос ветхого старца сменяется старостью подведения итогов, и наоборот. Важно, однако, то обстоятельство, что в образе жизни старого человека обычно доминирует один этос, второй же оказывается подчиненным, дополнительным этосом.

<sup>13</sup> «На свете счастья нет, но есть покой и воля» (А. С. Пушкин). «Уж не жду от жизни ничего я, / И не жаль мне прошлого ничуть; / Я ищу свободы и покоя!» (М. Ю. Лермонтов).

<sup>14</sup> Шмеман А., *прот.* Указ. соч. С. 200.



Как видим, отец Александр связывает наступление старости с сознанием исчерпанности жизни («мне... кажется, что я уже получил от жизни все, что хотел от нее получить»): сознание исчерпанности жизни оказывается ее «очищением», снятием с нее многослойной «накиши». Освобождение от «житейских» забот, очищающая работа «сознания, мысли, сердца, созерцания» открывает душу для «квинтэссенции жизни», для «тайной радости». Но это очищение жизни от забот и попечений есть в то же время подготовка к смерти. Полнота жизни, проникновение в «ядро ее ядра» сопрягается отцом Александром с аскезой старости, с познанием смерти (с ее антиципацией) изнутри жизни. Познание смерти изнутри жизни оказывается связано с отсутствием желаний («получил от жизни все, что хотел от нее получить»). Высвобождение души из под власти «хочу» расчищает «место» для «тайной радости», которая самодостаточна в своей полноте, так что когда она присутствует, то «душе уже ничего не надо».

Далее в том же дневнике отца Александра читаем: «...Потому, что молодость не знает о смерти, не знает она и жизни. Это знание тоже приходит “видевше свет вечерний...” И был вечер, и было утро — день первый... Молодость “живет”, но не благодарит. А только тот, кто благодарит, знает жизнь»<sup>15</sup>. Речь идет опять же о той отрешенности, которой награждает знание смерти. Причем в старости знание смерти «при жизни» может быть дано не на «один миг», не как исключительное событие («небо Аустерлица», раскрывшееся над тяжело раненым Андреем Болконским из «Войны и мира» Толстого), а как особый способ присутствия в мире. Знание смерти, претворенное в этос, — это достояние ветхого старца. Отрешенность от жизни — благодаря внутреннему знанию (знанию-переживанию) смерти — дает особое чувство жизни, чувство полноты присутствия и рождает чувство благодарности за то, что есть ты, есть мир и есть Тот, кто все это даровал тебе.

*Старость и любовь к ближнему.* Итак, старость — это отрешенность. Но старость в горизонте ветхого (а в определенной мере — и в горизонте старого) может обнаруживать

<sup>15</sup> Шмеман А., *прот.* Указ. соч. С. 200.

себя не только в созерцательном, любовном отношении ко всему сущему (для верующего же — в первую очередь в любви к Творцу «неба и земли»), но и в деятельной любви к «другому», к ближнему. Психологи отмечают, что *многие старики с удовольствием оказывают помощь окружающим людям: родственникам (детям, внукам, племянникам), соседям по лестничной клетке, тем, кого они постоянно встречают во дворе или в сквере.* Некоторые старики признаются при этом, что желание бескорыстно помогать ближнему появилось у них поздно, уже в преклонные годы. Порыв этот заслуживает внимания еще и потому что он исходит от людей, которые слабы и часто сами нуждаются в посторонней помощи и заботе.

Каков же источник открывшегося в старости стремления творить деле милосердия и любви? Скорее всего, здесь задействовано несколько мотивов и социального, и духовно-психологического свойства, мы же отметим лишь тот, который можно обнаружить, занимаясь описанием феномена «позитивной старости»: собранность времен в этосе простого присутствия (старость под знаком ветхости) освобождает место для «другого». Освобожденный старостью-ветхостью от озабоченности успехом (от «самореализации и самоутверждения», от того, «как я выгляжу» и «что скажут обо мне люди»), человек открывает другого-как-друга и делает добро, не ожидая ответной благодарности. Тому, кто расстался «с собой любезным», кто живет не прошлым, не будущим и не настоящим<sup>16</sup>, а полнотой «здесь и теперь» (без оглядки «назад» и «вперед»), тому открывается *радость* бескорыстной *любви-заботы* не только о другом человеке, но и о дереве под окном, и о цветах на подоконнике...

\* \* \*

Приятие старости в горизонте ветхости, освобождающее человека от самого «себя» и от привязанности ко всему «своему», открывает его для Другого. То, что в других возрастах часто остается потаенным и обнаруживает себя лишь время от времени, мгновеньями и проблесками в особенных

<sup>16</sup> В том случае, если рассматривать настоящее как пересечение проекций моего прошлого (социально-ролевое — «уже») и будущего (мечтательно-проективное — «потом») «я».

событиях-расположениях (эстетических, религиозных, этических, когнитивных), в старости становится тем, вокруг чего может быть построен цельный нравственный характер. В старости, поверяющей себя ветхостью, появляется возможность достижения полноты присутствия в самом образе жизни, в этосе, чья «емкость» оказывается достаточной для того, чтобы вместить в себя покой и волю, а заодно — и все сущее.

### Этос ветхого старца в контексте молодости и зрелости

Предшествующий анализ показал, что максимального своеобразия и выразительности старость достигает «под знаком ветхости». Вот почему, приступая к обсуждению вопроса о возможном присутствии позитивных форм этоса старого человека в молодые и зрелые годы, мы ограничимся рассмотрением формы этоса ветхого старца.

Этос ветхого старца мы сопрягали с ослаблением, одряхлением тела и новым переживанием времени, которое дается внутренним (не отвлеченным) знанием старости и смерти, и пришли к выводу, что именно готовность принять это знание и работа с ним формируют нравственный характер старого человека, в частности, характер «ветхого старца». Однако по ходу рассуждения сам собой *возникает вопрос о возрастных границах, в которых такой этос может быть сформирован*. Этот же вопрос можно сформулировать немного иначе: является ли этос старца привилегированной возможностью престарелого человека или же он доступен также и людям молодым и зрелым? обязательно ли этос старца предполагает «дряхлое», «иссушенное годами» тело или он может быть во-ображен и людьми, еще не утратившими физической крепости и жизненной энергии?

Тезису, который мы будем отстаивать в этом разделе, можно придать следующую форму: этос ветхого старца, с наибольшей полнотой и отчетливостью, обнаруживающий себя в характере человека пожилого и старого, в определенном смысле является *универсальным этосом* и может быть осуществлен в годы молодости и зрелости<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Что касается этоса старости «в горизонте старого», то он, по нашему убеждению, также имеет универсальное значение. Ведь и в

В большинстве случаев (но *не во всех*) этос ветхого старца в период до достижения пожилого возраста оказывается «спрятан» в иных этосах и «образах жизни», которые, однако, если всмотреться в них с «родственным вниманием» (термин М. Пришвина), обнаруживают в своем составе то самое, что мы находим и в этосе ветхого старца. Так в «фигурах» монаха, священника, мудреца, философа, поэта, художника, юродивого, пророка... внимательный взгляд заметит их «внутреннее сродство» с образом ветхого старца. Иногда эти фигуры совмещаются в одном и том же образе (монах, мудрец, пророк), иногда — нет. Но нам интереснее другое: анализ перечисленных выше типов человеческого поведения обнаружит их внутреннее, глубинное сродство как друг с другом, так и с этосом ветхого старца.

**Этос старца и христианская традиция.** Отец Александр Шмеман так артикулировал христианское понимание достойной старости: старость ценна прежде всего даруемой «отсветом лучей оттуда» «тайной радостью», она ценна той посылаемой с этими лучами свободой, в чьем свете «совершается умирание душевного тела и восстановление духовного...»<sup>18</sup>. Но если видеть внутреннее содержание старости в восстановлении «духовного тела», то справедливости ради следует отметить, что такое восстановление есть содержание не только старости, но *всей жизни* христианина. Если это так, то разговор о христианской свободе применительно к старости может быть тематизирован в особый дискурс лишь в той мере, в какой старость выдвигает это «задание» на передовую линию внимания, и постольку, поскольку его решению способствуют возрастные изменения души и тела, а также то новое сознание времени и смерти, захватывающее человека в старости. Задачу, которую ставит перед стариком его возраст, отец Александр Шмеман видит в том, чтобы «знание о смерти

молодые, а тем более — в зрелые годы бывают моменты, когда человек оказывается в большей степени обращен назад, к прошедшему, а не к будущему, когда перспектива утрачивает ясность и определенность или резко сокращается, и человек, принимая такое положение как данность, пытается извлечь смысл из прошедшего не в перспективе будущих задач и целей, а ради самого смысла.

<sup>18</sup> Шмеман, А. *прот.* Указ соч. С. 200.

сделать, вернее, все время претворять в знание о жизни, а знание о жизни — в знание о смерти»<sup>19</sup>. Этот императив, сформулированный отцом Александром, также обращен к *христианину любого возраста*. Христианская вера претворяет — через исповедание крестной смерти и воскресения Христова — знание смерти в знание жизни, побеждающей смерть, так что этос, выстроенный на фундаменте такого знания, — и есть христианский этос. Помнить о смерти (знать о смерти), претворяя это знание в знание о жизни, а знание о жизни в знание о смерти, — значит практиковать христианскую аскезу ради «духовной радости», ради свободы в Боге.

Смысл христианской аскезы не в умалении тела и телесной жизни как таковых (тело для христианской веры не есть зло само по себе, не есть «злое начало»), а в подчинении тела — духу, в подчинении «душевного тела» — «телу духовному». Евхаристия, таинства, богослужение, посты и праздники — все эти элементы христианской жизни нацелены на восстановление «духовного тела» и на построение этоса, в котором духовное начало в человеке определяло бы собой его характер, его поведение и его жизнь. Отсюда вывод: то, что мы назвали «этосом ветхого старца», входит в христианский этос в качестве его органического момента. Этос христианина не есть этос ветхого старца, но он с необходимостью включает его в себя.

Церковь, однако, всегда сознавала, что *в полноте и чистоте* христианский этос доступен не всем, что здесь требуются особые усилия, что тут нужна внутренняя работа, которую не выполнить без помощи свыше. Если даже телесно и душевно состарившиеся люди часто оказываются не готовы принять старость и смерть и оставить «надежды и упования» на «мир сей», то сделать это в зрелом и тем более молодом возрасте еще сложнее. Но трудно — не значит невозможно. Жизнь в Церкви (тем более — жизнь в монастыре<sup>20</sup>) имеет

<sup>19</sup> Шмеман, А. *прот.* Указ соч. С. 200.

<sup>20</sup> Монашеский «устав» *способствует* превращению религиозного опыта Богообщения в нравственный характер, в «линию жизни». Именно потому, что достичь христианского этоса (отрешиться от суеты, выйти в иное «измерение») молодому и взрослому, полностью сил и желаний, растущему «в мир» человеку — даже если им

своим внутренним фокусом веру в Бога и взаимную поддержку верующих в трудном деле выстраивания христианского этоса, то есть такого нравственного характера, который был бы сформирован исходя из веры в Бога и с опорой на Его благодатную помощь.

**Этос ветхого старца и этосы «отрешенного человека».** Во всех нравственных характерах (способах бытия, этосах), которые демонстрируют свою свободу от повседневности, отрешенность есть то самое, что сближает их с этосом ветхого старца: это характеры, которые определены из Другого, из Иного, то есть определены чем-то, что «перпендикулярно» к повседневной жизни с ее бесконечными заботами и нуждами. В народном сознании такого рода этосы очень точно и емко определяются словосочетанием «не от мира сего». В этом фразеологическом обороте схватывается особый «тип поведения», особый характер, суть которого в том, что человек «не от мира сего» в чем-то очень существенном *не определяется горизонтальными связями*, мотивами, отношениями, жизненными обстоятельствами. В поведении того, о ком говорят, что он «не от мира сего», обнаруживается что-то такое, в чем люди видят проникновение в мир обыденный, повседневный — Другого; человек «не от мира» являет в своем характере «иную логику», живет, хотя бы отчасти и иногда, не по тем правилам, по которым живет «мир».

На этом основании народное сознание уверенно объединяет в одну группу человеческие типы, имеющие между собой, казалось бы, мало общего. В разряд людей «не от мира сего» попадут: юродивый и поэт, святой и деревенский дурачок, философ и шукшинский «чудик» вроде Ал[е]ши Бескон-

движет непритворная любовь к Богу — трудно, и существуют монастыри, постриг, послушание и духовное руководство опытных в выстраивании монашеского этоса подвижников (старцев). Монашеский порядок жизни — участие в литургии, послушание, аскетические упражнения, молитва, строгий пост — нацелен на освобождение души от привязанности к «себе» и ее расположение к радости Богообщения. Инок посвящает себя Богу и отказывается от своего мирского «я», что символически ознаменовывается получением нового, монашеского имени. Монах должен умереть «для мира», чтобы всего себя отдать Богу.

войного. Для нас же важно то, что измерение «не от мира сего» можно найти также и в этосе ветхого старца (как, впрочем, и в словах и действиях несмышленного дитяти...). Вот почему мы считаем, что при всем своеобразии старости, выстроившей свой нравственный характер в горизонте ветхого, *старческий этос «присутствует» во всех этосах «отрешенного человека», хотя и не может быть отождествлен с ними напрямую* (этосы юродивого, поэта, художника, музыканта, философа — не совпадают с этосом ветхого старца, но они близки ему типологически, «старец», так сказать, «свернут» в их отрешенности).

Следует, правда, отметить, что вне традиции (религиозной или культурной), то есть вне добровольно принятой на себя дисциплины, любой из *этосов отрешенности* с легкостью принимает вырожденную, симулятивную форму (вспомним о таких типажах, как, например, доморощенный философ, графоман, ханжа, непризнанный гений...).

Впрочем, принадлежность к традиции и сообществу (например, философскому, поэтическому, художественному, религиозному) сама по себе лишь создает благоприятные условия для построения соответствующего этоса, но не гарантирует того, что цель будет достигнута. Ведь если человек полон сил, обуреваем желаниями, если он вовлечен «в суматоху дел», в бесконечную череду обязательств перед родными, близкими, коллегами и т. д., то *жить под знаком Другого постоянно* ему трудно, даже, пожалуй, *невозможно*. «...Мешают заботы, сосредоточенность жизни на жизни...» (о. А. Шмеман). Хорошо, если человек хотя бы *иногда* оказывается в топосе «ветхого старца» (в топосе отрешенности и бескорыстной любви) и видит, мыслит, поступает, как ветхий старец, то есть освободившись от власти «суеты и забот» (от власти обид и упований, от власти прошлого и будущего). Но даже в случае успеха в выстраивании одного из этосов отрешенности (например, этоса поэта или, скажем, философа) человеку не по силам удержать себя в его структуре во всех тех многообразных ситуациях, в которые забрасывает его «житейское море»<sup>21</sup>. Поэту, художнику, фи-

<sup>21</sup> Соседство в одной душе «поэта» и «сына земли» остро переживали многие художники (особенно романтики, да и не только они одни), в том числе и Пушкин:

лософу не всегда удается смотреть на вещи отрешенно, с позиций созерцания и свободного творчества. Однако и мерцающая актуализация любого из «этосов отрешенности» дает возможность увидеть жизнь «иначе» и встретить старость достойно, без страха, помогает найти силы осуществить те возможности, которые открывает перед ним опыт отрешенности.

Таким образом, этос ветхого старца — это (по сути своей) этос *эсхатологический*, выстроенный из топоса завершенности жизни и ее отнесенности к Другому (Иному). Как «этос завершенности» ветхая старость некоторым образом дана в любом из «этосов отрешенности» (или, иначе, в любом из «эсхатологических» этосов), она свернуто в них содержится и, следовательно, имеет отношение не только к старости, но и к молодости и зрелости.

**Этос старца и философия.** Остановимся в качестве примера «включенности» этоса ветхого старца в «отрешенные этосы» на нравственном характере философа. Существо философии, философского взгляда на человека и мир имеет своим жизненным основанием «смерть для мира» и сопря-

Пока не требует поэта  
К священной жертве Аполлон,  
В заботах суетного света  
Он малодушно погружен;  
Молчит его святая лира;  
Душа вкушает хладный сон;  
И меж детей ничтожных мира,  
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол  
До слуха чуткого коснется,  
Душа поэта встрепенется,  
Как пробудившийся орел.  
Тоскует он в забавах мира,  
Людской чуждается молвы,  
К ногам народного кумира  
Не клонит гордой головы;  
Бежит он, дикий и суровый,  
И звуков и смятенья полн,  
На берега пустынных волн,  
В широкошумные дубровы...»

(«Поэт», 1827)



женную с ней способность взглянуть на вещи безотносительно к нуждам, желаниям и упованиям «мира», способность «рассмотреть» вещи (включая мир, сознание, человека...) на их пределе, то есть выходя на «границу» мира и самого себя как той его части, в которой мир имеет место. Чтобы основательно понять мир, философ должен *умереть для мира*, отрешиться — насколько это возможно для человека — от искажающих восприятие и понимание «помех», вносимых его захваченными желаниями, амбициями и предрассудками мыслящим телом... Философ — это человек, имеющий опыт «отстранения» (дистанцирования) от мира, человек, способный удивляться и радоваться тому, что мир — есть. При этом философ — это *тот, кто вырабатывает на этой основе особый философский этос* и особый язык, позволяющий выстроить взгляд на жизнь, на человека, на все сущее «со стороны». Философ переводит состояние отстраненного (удивленного) человека в особое *речевое поведение*, через которое (в котором) он пытается удержать и артикулировать опыт простого присутствия, опыт онтологической дистанции. Этот опыт присутствия (давая ему разные имена) он делает предметом своего мышления и речи, той точкой, отправляясь от которой он выстраивает свой нравственный характер (если, конечно, перед нами не «философ-специалист» или «преподаватель философии»). Таким образом, говоря о философском этосе, нельзя не обратить внимания на тот его аспект, в котором он совпадает с *этосом ветхого старца*<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Со времен античности философия понималась отнюдь не как отвлеченное познание, но как отвлеченный *образ жизни, как путь*, освобождающий человека от страха смерти, как *искусство умирания*. Во всяком случае, именно об этом говорят многие тексты античной поры (от платоновского «Федона» до «Утешения философией» Боэция). Основные направления античной философии были не просто разными направлениями «мысли о бытии», но и разными *вариациями философского образа жизни*, вариациями философского этоса как способа присутствия в мире посредством культивирования мыслящей отрешенности от подвижной и обманчивой «поверхности» жизни, через единения с первоначалом (первоначалами) всего сущего (пифагорейцы, эпикурейцы, стоики, неоплатоники и др.) или путем воздержания от догматического утверждения истины (скептическая атараксия). Полнота *присутствия через отсутствие* раз-

Подобно старцу, философ имеет в качестве «начала» своего этоса опыт отстраненного, отрешенного присутствия, но в отличие от старца философ *разворачивает его в особую рода дискурс и делает мысль* (в той или иной мере) принципом устройства «образа жизни» (его ритмического рисунка, а также того, с кем и как он общается, что читает, как отды-

ными философскими школами понималась и практиковалась по-разному, а потому и выработанный в них философский этос приобрел разнобразные формы, но его суть оставалась неизменной и состояла в том, чтобы — тем или иным способом — занять по отношению к окружающим человека вещам отстраненно-созерцательную позицию, присутствуя в мире, подобно «ветхому» (мудрому) старцу. Античные философы, наверное, согласились бы с тем, что «аскезу старости... нужно начинать рано» (о. А. Шмеман).

В Средние века философия — еще с большей определенностью, чем в античности — оказалась связана с отрешенностью от мирской суеты, но с поправкой на евангельскую заповедь любви. В Средние века философия как образ жизни, как *этос отрешенности* существовала в двух формах: *монашеско-подвижнической* (монахов в Средние века нередко называли философами) и *богословско-философской* (св. отцов также называли философами). Как видим, в эту эпоху философский этос сближается с монашеским и даже просто с христианским этосом, в котором нетрудно увидеть средство с этосом ветхого старца.

В Новое время философский этос возвращается к установкам античной философии, но с акцентом на автономную субъективность. Философ — тот, кому удастся удерживать автономию своего «я» посредством мышления (удерживая «я» как изначально рациональное, обретающее независимость и свободу от мира явлений в автономии трансцендентально-всеобщей мысли) или же посредством перцепции, удерживающей автономию «я» в качестве ощущающего, «имеющего опыт» перцептивного центра всех явлений.

Только начиная с Маркса философы стали говорить о необходимости порвать с философией как этосом отрешенности: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» (Маркс, К. Соч. Т. 3. М., 1955. С. 4). Сегодня вовлеченность философской мысли в дела «текущего момента», акцент на «актуальности» мысли, инкорпорированной в подвижную мозаику постмодернистской культуры, становится особенно ощутимой. Но постольку, поскольку философ претендует на свободу и право критического суждения изнутри «режима актуальности» (выражение В. Савчука), он в той или иной мере воспроизводит все ту же модель «этоса отрешенности».

хает и т. д.). В определенном смысле можно говорить об экзистенциальном единстве этосов ветхого старца и философа. Эти этосы объединяет их отстраненность от сущего, созерцательность их «ведущего настроения». Однако при этом важно не забывать о **различиях в предпосылках формирования «этоса отрешенности» и в способах его удержания философом и старцем.**

Философский этос имеет в своей основе онтолого-эстетическую расположенность, опыт онтологической дистанции, однако, этот опыт не сопряжен необходимым образом с переживанием и осознанием возрастных изменений души и тела. От погружения в «заботу» философа освобождает не знание смерти через переживание и рефлексию над возрастными изменениями собственного тела, но через особый экзистенциально-философский опыт («прекрасное» Платона, «удивление» Аристотеля, «сомнение» Декарта, «ностальгия» Хайдеггера, «страдание» Майцены, «пауза надеяния» Мамардашвили). Этот опыт ставит философа в ту же пограничную ситуацию «отсутствующего присутствия» (выключенности из круговой поруки горизонтальных связей), к которой подталкивает старика его старость.

Но если старец особым образом — созерцательно, с любовью и вниманием к вещам и людям — присутствует в мире, то для философа опыт чистого присутствия становится *толчком к работе мысли и ее словесному выражению.* Мыслить основательно — значит удерживать дистанцию по отношению к вещам через **медитацию** над «первопринципами», над «архэ». Таким образом, можно утверждать, что философский этос (в элементе отрешенности от забот о «текущей повседневности», в опыте чистого присутствия) обнаруживает внутреннее сродство с этосом ветхого старца, включает его в себя в «свернутом виде», хотя с ним и не совпадает, обладая своей собственной нравственной конституцией.

#### **Этос ветхого старца в годы молодости и зрелости.**

Выше уже шла речь о присутствии *старческого этоса* в различных формах нравственного характера человека, теперь же следует сказать о том, что этот этос иногда обнаруживает себя в далекие от старости годы *именно как «старческий этос»*, а не как этос христианина, философа или поэта...

Спросим себя: что может способствовать актуализации этоса ветхого старца задолго до наступления старости? Прежде всего, это те события, которые помещают еще зрелого человека в топос, типологически близкий топосу старого человека. Если такой опыт осознан и *если это знание* в той или иной мере определяет собой *поведение* человека, то это указывает на то, что человек достиг (пусть, на время) старчески-отрешенного этоса в далеком от физической старости возрасте.

Местом выпадения из круговорота забот и обретения «старчески отрешенной» позиции в отношении к миру и к самому себе могут быть литургия, молитва, эстетическое расположение, событие мысли или такие события, которые ставят человека в ситуацию, побуждающую его задуматься о смерти и взглянуть на жизнь по-новому. В момент, когда человек оказывается в экстремальной ситуации и понимает, что выйти из нее не в его власти, *его прошлое начинает весить больше будущего* (человек чувствует себя стариком), а в каких-то случаях — и вовсе *«испаряется» вместе с будущим*, и ему, отрезанному от будущего и прошлого (а стало быть, и от настоящего), *остается только присутствовать*, с необыкновенной остротой воспринимая жизнь в хорошо знакомых, простых вещах. Он любит солнечным теплом, вслушивается в шелест листвы и с восхищением следит за полной волшебной грацией игрой света и тени там, под кроной старого дерева, вольно раскинувшего свои ветви над деревенским проселком...

Да, пожалуй, что так: человек «внезапно стареет», «ветшает» в ситуациях, которые выводят его из погруженности в жизненный поток и отделяют его «от него самого» и от всего окружающего. Это ситуации, которые закрывают путь действию и открывают простор созерцанию и чистому присутствию; они-то и ставят человека — «до срока» — на то место, в котором все мы окажемся, когда станем старыми.

Особенный, может быть, наиболее «чистый» пример такой преждевременной старости — это долгая, тяжелая болезнь, не позволяющая отнести смерть в «определенное будущее». Это болезнь, про которую мы знаем, что она может длиться годами, а может «обостриться» и за короткое время привести к смерти. У человека с хронической болезнью отношения со смертью близки к тем, которые устанавливаются

с ней у старика. Он или вспоминает о смерти, или она напоминает ему о себе сама — это не важно. Важно то, что смерть напоминает ему о себе чаще, чем здоровому человеку. Он живет с этим знанием, болезнь принуждает его помнить о смерти и менять под воздействием этого знания свое отношение к миру, себе, к жизни. В такого рода болезнях человек не «впадает» в топос близкий старости «на время». Это для него не особенное событие, это привычное состояние «старости до старости». Пример такого раннего вхождения в старость болезнью дает нам биография Чехова.

*Случай Чехова: художник и старец как одно лицо.* Как уже было сказано, этос «ветхого старца» — это не только попадание в некоторые «отвлекающие от жизни» и «охлаждающие» желанья состояния, но и *рефлексия над отрешенностью от мира*. Отсюда реющее где-то на «заднем плане» сознание «временности» собственного присутствия в мире и осмысление своего бытия с позиций приятия (всем существом своим, на уровне этоса, нравственного характера) неизбежности и неотвратимости конца. Такое сознание и рефлексии над ним мы как раз и находим у Чехова.

Его личный этос, если посмотреть на него с точки зрения аналитики старости, обнаруживает многое из того, что было описано нами как этос ветхого старца. Причем присущая Чехову созерцательность, судя по всему очень рано стала претворяться им в формы этоса старого человека<sup>23</sup>. В полных самоиронии и вместе скрытой силы шуточных подписях под фотографиями и письмами («старец Антоний»), в характерной для Чехова игре с образом старости в те годы, когда другие о ней еще не задумываются, можно видеть свидетельство работы молодого еще писателя с этосом старости.

В «линии жизни» Чехова этос старца и этос художника (опыт художественно-эстетической, созерцательной отрешенности от окружающего) органично сплелись, соединились и, вступив во взаимодействие, создали такой сплав отрешенности и творчества, результаты которого иначе как порази-

<sup>23</sup> Тот, кто признает свою старость и неизбежность конца всегда внутренне сильнее того, кто так же состарится и умрет, но пребывает в счастливом неведении.

тельными не назовешь. Проза Чехова исполнена удивительной отрешенности, отрешенности по отношению ко всему, о чем он пишет (это взгляд «сверху», «издалека»), и в то же время — и это сразу чувствует читатель — все у него согрето необыкновенной любовью к жизни, в каждой строчке чувствуется взгляд, ценящий присутствие как таковое, а потому печальный: слишком часто люди не ценят простого «есть», не замечают разлитой всюду красоты и тонут в мелочах, живут наспех, «начерно»...

Завершая краткий экскурс в биографию Чехова, заметим, что писатель, художник остается внутренне близок фигуре старца и тогда, когда его здоровье отличается большей крепостью, чем здоровье Антона Павловича. В каком-то смысле, каждый художник — мудрый старик, но старик, сохранивший в себе непосредственность и впечатлительность ребенка и сумевший соединить детскость и мудрость с творческой энергией зрелого мастера.